

Борис Успенский
ТРУДЫ И ДНИ
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Борис Андреевич Успенский
Труды и дни. (Из
воспоминаний)
Серия «Методы культуры: филология»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74171571

*Труды и дни: (Из воспоминаний) / Борис Андреевич Успенский: Альма
Матер; Москва; 2025
ISBN 978-5-00264-037-9*

Аннотация

Новая книга Бориса Андреевича Успенского посвящена осмыслению автором своего творческого, научного и жизненного пути. Он анализирует методологические основы своих исследований и выстраивает логику научного поиска, приведшего к созданию ряда фундаментальных работ по семиотике власти, церковной истории и культуре Древней Руси.

Воспоминания, написанные в виде очерков, состоят из двух частей, озаглавленных соответственно «Труды» и «Дни». Первая часть посвящена событиям, связанным с исследовательской работой автора и публикацией его трудов. Вторая часть объединяет очерки его повседневной жизни. Издание также содержит полный список опубликованных трудов Б.А. Успенского.

Книга адресована филологам, историкам и всем интересующимся гуманитарными науками.

Содержание

Труды	6
Путь в славистику	6
I	6
II	20
III	37
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Борис Успенский

Труды и дни: (Из воспоминаний)

Серия «Методы культуры. Филология»



© Успенский Б.А., 2025

© Издательская группа «Альма Матер», оригинал-макет,
оформление, 2025

Труды

Путь в славистику (*Habent sua fata libelli*)

*В жизни ученого и писателя главные
биографические факты – книги, важнейшие
события – мысли*
В.О. Ключевский

I

По своему образованию я лингвист. Область моих первоначальных интересов – общее языкознание. Интерес к этой тематике не покидает меня по сей день. Моя первая книга была посвящена общему языкознанию¹, и ему же посвящена была одна из моих последних монографий². Лингвистика, можно сказать, определила мое мировоззрение. Ведь языковые модели и языковые структуры прослеживаются в самых разных областях человеческого поведения, и, соответственно, в самых разных областях человеческой культуры линг-

¹ Успенский, 1965.

² Успенский, 2007; 2-е изд.: Успенский, 2012.

вист способен увидеть то, чего не видят профессионалы, специализирующиеся в той или иной области.

Поэтому возможны, например, “лингвистическая история” (история, увиденная глазами лингвиста), “лингвистическая поэтика” (поэтика, увиденная глазами лингвиста), “лингвистическое искусствознание” (теория и история искусства, увиденные глазами лингвиста), “лингвистическая философия” (философия, увиденная глазами лингвиста). При таком понимании лингвистика предстает как наука наук – как метанаука по отношению к другим областям человеческого знания.

В самом деле, что такое язык? Это уникальный инструмент, с помощью которого человеческое общество хранит, распространяет и преобразует информацию, необходимую для его жизнедеятельности и коммуникации между его членами. Языковые знаки представляют результат обобщения опыта разных людей, подобно тому, как денежные знаки представляют собой результат обобщения представлений о ценностях. В этом смысле лингвистика является основой науки о человеке как *homo sapiens*. Она дает выход в самые различные области человеческой культуры.

Меня все это интересовало, и поэтому, не оставляя занятий лингвистикой, я занялся семиотикой. Я понимал семиотику как предельно обобщенную лингвистику: есть просто языкознание, непосредственно связанное с исследованием конкретных языков, есть общее языкознание, предпо-

лагающее более высокий уровень абстракции, и, наконец, на самом высоком уровне есть общее языкознание, которое рассматривает знаковые явления (механизмы) человеческой культуры. В этом смысле лингвистика является областью семиотики.

Так, наряду с лингвистикой, я занялся семиотикой. Большим стимулом для меня была встреча с Юрием Михайловичем Лотманом, перешедшая в многолетнюю дружбу, а также общение с Романом Осиповичем Якобсоном и Владимиром Николаевичем Топоровым – все они, как и я, были филологами, которые вторгались в чужую область знаний. Как интерес к общей лингвистике, так и прямо вытекающий отсюда интерес к семиотике были веянием времени.

Описание *sub specie semioticae* не было самоцелью: анализируя – в семиотических терминах – то или иное произведение искусства, поведение, историческое явление и т. п., исследователь стремился не столько продемонстрировать возможности семиотического метода, сколько выявить знаковую природу исследуемого объекта. Иначе говоря, исследователь, занимающийся, например, искусством или историей, выступал прежде всего как искусствовед или историк, а не как семиотик: он исходил из того – и пытался показать, – что такого рода описание существенно важно для понимания рассматриваемого явления. При таком подходе семиотика представляла, в сущности, как прикладная, т. е. вспомогательная дисциплина, само существование которой оправ-

дано именно применением к конкретному материалу. Вместе с тем, принципиальный интерес к разным областям знания, объединяющимся единым подходом, к разным научным дисциплинам, — давал возможность заниматься глобальными проблемами, преодолевая узкую специализацию, присущую каждой из этих дисциплин.

Занимаясь семиотикой, я обратился к исследованию икон. Меня интересовал язык иконописи, в частности, система перспективы — так называемая обратная перспектива. Исследование перспективы — как прямой, так и обратной — предполагает исследование того, как видели мир создатели картины, как они воспринимали изображаемое пространство и каким образом они соотносили изображающего и изображение.

Большое значение для формирования моих интересов в этой области, была встреча со Львом Федоровичем Жегиным (Шехтелем), художником, который был намного старше меня. Мы подружились со Львом Федоровичем. Наряду с занятиями живописью, в течение многих лет он писал книгу о передаче пространства в русской иконописи. Эту книгу я ему помог докончить (с моей стороны это была только редакторская работа) и издать в издательстве “Искусство” (к сожалению, книга вышла после смерти Льва Федоровича, но печататься она начала при его жизни, и он видел корректуру)³. Вообще в то время у меня было много друзей значи-

³ Жегин, 1970.

тельно старше меня, – обладавших совсем другими взглядами и совсем другим жизненным опытом (у некоторых из них он сформировался еще до революции!), чем представители моего поколения. Назову Юрия Михайловича Лотмана, Льва Федоровича Жегина, Романа Осиповича Якобсона, Петра Григорьевича Богатырева, Игнатия Игнатьевича Ивича (Бернштейна), Кирилла Федоровича Тарановского, Владимира Николаевича Топорова. Близкие отношения у меня сложились с Михаилом Михайловичем Бахтиным и Евгением Алексеевичем Бокаревым.

Что же касается обратной перспективы, то впоследствии, когда в мои руки попала статья о. Павла Флоренского “Обратная перспектива”, я нашел много созвучных мне мыслей⁴. Это и неудивительно: работа Флоренского не публиковалась при его жизни, и тем не менее однажды высказанная мысль живет своей жизнью и часто тем или иным образом как-то

⁴ Флоренский П.А., 1967. Мне довелось быть первым публикатором этой работы, да и вообще первым публикатором Флоренского после его смерти (имя Флоренского тогда мало что говорило широкой публике). Гранки статьи Флоренского (предназначенной для его сборника “У водоразделов мысли”, которому не суждено было выйти в свет) я получил от Сергея Ивановича Григорьянца (1941–2023), в то время студента факультета журналистики МГУ, а впоследствии известного диссидента. С. И. был страстным коллекционером, и гранки этой статьи каким-то образом оказались в его коллекции. Рукописи Флоренского хранились у сына о. Павла – Кирилла Павловича Флоренского (1915–1982), геохимика (ученика В.И. Вернадского). Публиковать их К. П. не решался и вообще никому не показывал. Мне удалось уговорить его кое-что опубликовать, и он даже согласился написать к этой публикации небольшое предисловие (Флоренский П.А., 1971а; 1971б; 1971в; Флоренский К.П., 1971).

распространяется, доходит до окружающих и до других людей. Тем более, с Флоренским был знаком Л.Ф. Жегин: Флоренский в свое время читал труд Жегина (в рукописи) и его одобрил.

Итак, я стал заниматься иконами. Эти занятия привели меня к старообрядцам. Мне хотелось понять, как выглядели иконы в естественном для них освещении: ведь иконы не предназначались для электрического освещения, они освещались свечами – поэтому у них такие яркие краски (которые так восхищали Матисса); эти краски выглядят совсем иначе при свечах, они рассчитаны именно на свещное освещение, а не на яркий эффект. Вообще мне хотелось воспринимать иконы так, как они воспринимались раньше: они были частью литургического действия, их восприятие в храме было неразрывно от церковного пения. (Позднее я нашел эти мысли у Флоренского; надо полагать, и в этом случае они как-то до меня донеслись – отзвуки чужой мысли.) В старообрядческих беспоповских храмах в определенные моменты богослужения постепенно зажигаются свечи перед не освещенными ранее иконами иконостаса, и иконные лики перед нами оживают. Затем они так же постепенно тушатся. Это незабываемое зрелище: в полутьме возникает черная фигура монахини, которая поднимается по лестнице и зажигает свечу, затем спускается, переносит лестницу – и так освещает весь ряд.

Но я отвлекся. Так я попал в Воздвиженскую церковь ста-

роообрядческой общины федосеевского согласия (безбрачных беспоповцев) на Преображенском кладбище в Москве. Меня привела туда Варвара Тихоновна Зонова, жена Льва Федоровича Жегина; она родилась в Замоскворечье и происходила из зажиточной старообрядческой купеческой семьи. Преображенское в то время было окраиной Москвы: метро туда еще не доходило, стояли крепкие кондовые избы (их в свое время строили богатые купцы-старообрядцы, которые приезжали в Москву Великим постом – говеть).

Меня потрясло то, что я увидел. Казалось, я не в Москве и не в СССР. Свечи, чинная служба, люди в средневековых одеждах, печное отопление. Мужчины с длинными бородами в азиях, женщины в сарафанах и платках, заколотых особым образом. Совершенно другие лица – продолговатые, одухотворенные, с горящими глазами. Позднее мне пришлось поехать по стране, побывать в разных старообрядческих общинах, и я убедился, что наиболее архаической, наиболее консервативной была московская федосеевская община.

Внимая церковной службе, я обратил внимание на необычное произношение. Сначала я подумал, что все молящиеся – выходцы из одной местности, носители какого-то особого говора. Но затем меня осенила мысль, что это могло быть особое литургическое произношение, принятое при чтении церковных книг. Не будучи славистом (я кончал романо-германское отделение), я все же понял, что они осо-

бым образом читают букву “ять”; это наиболее яркий, но отнюдь не единственный признак этой манеры чтения⁵. К моему удивлению, оказалось, что старообрядческим произношением никто не занимался, более того – что это не только не исследованное, но практически неизвестное явление⁶. Мне показалось, что я должен описать это произношение, что через несколько лет или десятилетий оно исчезнет. Я оставил занятия общей лингвистикой и сосредоточился на этом новом для меня поприще. Так я стал славистом. Я был прав и неправ. Прошло более полувека, и я могу сказать, что в какой-то мере это произношение может быть прослежено еще и сегодня – но оно звучит гораздо менее отчетливо и проявляется лишь спорадически: думаю, что если бы я услышал его сегодня у старообрядцев, я мог бы не обратить на него внимания, и во всяком случае мне было бы гораздо труднее его описать и исследовать.

⁵ Различение букв е и ѣ проявлялось не в качестве гласного звука, обозначаемого этими буквами, а в палатализации предшествующего ему согласного; со слуха это было не так очевидно. В Воздвиженской церкви я встретил Е.М. Верещагина, который, как выяснилось, тоже заинтересовался произношением старообрядцев и, также как и я, пришел к выводу об особой манере чтения церковных книг. Он предполагал, однако, что старообрядцы особым образом читают так называемое “якорное е” – букву е с особым начертанием (є). Мы решили выяснить, кто из нас прав, и положили, что тот, кто выиграет спор, сможет заниматься этой темой, а другой от нее откажется. Прямо из церкви мы поехали домой к Е.М., у которого были необходимые богослужебные книги; оказалось, что я выиграл.

⁶ Позднее я нашел спорадическое упоминание о чтении ятя у старообрядцев у Н.Н. Дурново.

Как показало последующее исследование, в некоторых, архаичных старообрядческих общинах сохранилась манера чтения церковнославянских книг⁷, которая ранее (еще в XVIII в.) была повсеместно принята в Русской церкви; таким образом, речь идет не о специфически старообрядческом явлении, но о традиции русского церковного произношения, которое сохранилась у старообрядцев. Более того: оказалось, что эта традиция восходит к XI-XII вв., т. е. она начала формироваться на Руси сразу после принятия христианства. В целом эта манера чтения очень архаична: достаточно упомянуть, что старообрядцы сохранили произношение еров – букв ѣ и ѥ (соответствующих твердому и мягкому знаку в современной орфографии, которые превратились в условные графические обозначения). Падение и прояснение звуков, обозначаемых буквами ѣ и ѥ, имело место в середине XII в., но, как оказалось, при чтении церковных книг, эти буквы произносятся (в виде полугласной) и по сей день. Таковы выводы, к которым я пришел в результате занятий этой темой; в дальнейшем они помогли пересмотреть или уточнить целый ряд фактов истории русского языка⁸. Занимаясь ей, мне приходилось учиться славистике: обучение не было отделено от исследования.

⁷ Точнее было бы говорить о системе чтения, поскольку это произношение основывается на определенной системе правил, усваиваемых при обучении чтению.

⁸ См. Успенский, 2002; Живов, 2017.

Отвлекаясь, сошлюсь на рассказ Джемса Биллингтона (американского историка, впоследствии директора Библиотеки Конгресса). В 1960-е гг. Биллингтон работал в Принстоне, там же был и о. Георгий Флоровский. Как-то они встретились в университетской библиотеке, о. Георгий стоял у стенда с новыми журнальными поступлениями. В его руках был свежий выпуск “Вопросов языкознания” с моей публикацией о литургическом произношении старообрядцев⁹. “Взгляните”, – сказал о. Георгий. – “В России начинается что-то новое!”¹⁰ Этот рассказ произвел на меня большое впечатление.

⁹ Успенский, 1967.

¹⁰ В настоящее время, вероятно, многие не могут себе представить, насколько неожиданным было тогда появление подобной статьи в академическом журнале. Сейчас исследование старообрядцев – расхожая тема, раньше же о них, как и вообще обо всем, что относится к религии, можно было упоминать только в обличительном контексте. Мне вспоминается эпизод, относящийся к тому же времени. В 1968 г. я отправился в Ригу, чтобы познакомиться с Гребенщиковской старообрядческой общиной (брачных беспоповцев) – крупным центром старообрядчества. Явившись в церковь, я отрекомендовался и подарил свою книгу о старообрядческом произношении (Успенский, 1968). После этого меня пригласил к себе председатель общины Лаврентий Силантьевич Михайлов. Он поблагодарил за книгу, обещал всяческое содействие, но заметил с укором: “Зачем же вы о старообрядцах так пишете, ведь мы ничего плохого не делаем”. – “Где же я плохо о вас пишу?” – “Да вот в начале первая фраза”. “Помилуйте”, – говорю, – “я же пишу о старообрядцах только хорошее: что вы хранители древнерусской культуры, что благодаря вам сохранились древние иконы, старинные распевы и т. п.” Он перечитал этот абзац. “В самом деле”, – сказал он с удивлением. Старообрядцы привыкли к обличениям, книги и статьи о них обычно начинались с указания на их темноту и ограниченность; ожидая этого, он автоматически прочел панегирик как инвективу.

чатление. Воистину: “нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...” Это, может быть, самый большой комплимент, которого я когда-либо удостаивался. Другой комплимент, которым я также горжусь, я получил от парткома МГУ; о нем я скажу позже.

Еще одно отступление. Я занимался произношением, но меня интересовало не только произношение, но и его носители. Вот один только пример.

Как-то я пришел к федосеевцам к концу службы, чтобы встретиться со своим информантом (бывшей монахиней, которая обещала мне рассказать, как она изучала грамоту); дело было Великим постом. Служба (длившаяся всю ночь) окончилась, народ, только что сосредоточенный на молитве и чинопоследовании, оживился, как оживляются птицы утром; женщины начали разговаривать друг с другом, церковь из места молитвы мгновенно превратилась в место общения. Я сидел на скамье, ожидая, пока разойдутся прихожане; мимо меня проходил наставник – аскетического вида старец. Привстав, я поклонился ему; он подсел ко мне и спросил, кто я такой (члены общины хорошо знали друг друга, и пришелец был сразу замечен). Я объяснил, что я филолог-языковед: меня заинтересовало их произношение, я хочу описать его и понять его происхождение. Говоря все это, я чувствовал, насколько чуждыми и поверхностными должны казаться мои слова моему собеседнику после многочасовой великопостной службы. Он опустил голову, углубился

в молчание и затем неожиданно произнес:

— Вот ведь как любопытно получается... Я провожу время в посте и молитве, кладу на день до тысячи поклонов, Великим постом придерживаюсь сухоядения, а вы, — добавил он деликатно, — возможно, этого не делаете. Но, может быть, вы спасетесь, а я нет¹¹.

В его словах не было ни малейшего сомнения в правильности и необходимости избранного им пути, но путь этот, по его убеждению, никак не мог предрешать конечный результат. Меня это поразило: я увидел истинно религиозное отношение к обряду, полностью лишенное каких бы то ни было элементов магии.

Возвращаясь к своему рассказу. Итак, я обнаружил особое книжное произношение, которое некогда было повсеместно принято в Русской церкви, но сохранилось только у старообрядцев — не у всех, но в некоторых, особенно консервативных общинах. Это произношение было принято при чтении церковных книг, но оно отразилось и в высоком стиле русского (не церковнославянского) языка — при декламации, в частности, при чтении стихов. И, как я уже говорил, оказалось, что эта манера чтения восходит к начальному периоду русской письменной традиции. Истории книж-

¹¹ Около тысячи земных поклонов старообрядцы совершают на Мариино стояние (в день Марии Египетской, на пятой неделе Великого поста). Протопоп Аввакум писал: “Нощию правило келейное отцы узаконоположиша, кто сколько может: или поклонов 300, или 600, или 1000...” (“Послание Борису и прочим чадам Бога вышняго” (Аввакум, 1960, с. 286).

ного произношения в России была посвящена моя докторская диссертация, защищенная в Московском университете в 1972 г.¹²

Работа над этой темой предполагала как экспедиционные исследования, так и занятия в библиотеках и прежде всего в рукописных книгохранилищах. Выяснилось, что старообрядцы, принадлежавшие к консервативным согласиям, которые не общались друг с другом около 300 лет, сохраняли одну и ту же традицию чтения церковных книг. Вместе с тем я должен был познакомиться с ранними грамматическими и фонетическими трактатами. Речь шла при этом не только о грамматиках церковнославянского языка, но и о русских грамматиках, поскольку в них описывалось произношение высокого стиля. В процессе этой работы я неожиданно обнаружил рукопись, исследование которой на время увело меня в сторону от занятий книжным произношением.

Мне посчастливилось найти первую грамматику русского языка на родном языке, т. е. описание языка, предназначенное для самих его носителей. Таким текстом ранее считалась грамматика Ломоносова, изданная в 1757 г.¹³; здесь же передо мной лежал текст, написанный почти на 20 лет рань-

¹² “Мой папа – доктор”, – говорил мой маленький сынок, и глазки его расширялись от ужаса: он много болел в то время и боялся врачей. В его устах это звучало как святотатство. “Наук!”, – выпаливал он, и это таинственное слово волшебным образом снимало кошунственность того, что им было только что произнесено.

¹³ На ее титульном листе значится 1755 г. – год основания Московского университета.

ше (он датирован 1738 г.). Появление грамматики на родном языке представляет собой важную веху как в истории языка, так и в истории культуры соответствующей страны. Что до русского языка, то в первой половине XVIII в. стремительно менялись его нормы и установки; 20 лет – очень большой срок для этой эпохи.

Граматики русского языка, написанные на том или ином иностранном языке, существовали и раньше¹⁴. Они были предназначены для иностранцев, и их появление было вызвано практическими задачами: иностранцы, приезжавшие в Россию, были заинтересованы в изучении русского языка как языка общения с русскими. Между тем грамматика, предназначенная для носителей языка, ставила перед собой другую задачу: задачу кодификации языка, определения правильной, нормативной речи.

Иностранные грамматики русского языка я знал довольно хорошо. Поэтому я вскоре увидел, что обнаруженный мной текст (посвященный описанию русской фонетики) дословно совпадает с первой частью грамматики Михаила Грёнинга, изданной по-шведски в Стокгольме в 1750 г.¹⁵ Естественно было предположить, что вся грамматика Грёнинга была не оригинальным сочинением, как это считалось, а переводом на шведский неизвестной русской грамматики – первой русской грамматики на родном языке (первую часть которой

¹⁴ См. обзор: Успенский, 1997а.

¹⁵ Groening, 1750.

мне удалось обнаружить). Смог я установить и автора этой грамматики – им оказался Василий Евдокимович Адодуров, первый русский адъюнкт Академии наук и второй куратор Московского университета.

Предстояло подготовить научное издание найденного мной текста – с точной передачей орфографии, с параллельным шведским текстом, с филологическим комментарием и т. д. Это была кропотливая работа (впрочем, увлекательная), однако, самое трудное, как оказалось, было впереди. Последующее повествование, в значительной степени посвященное различным перипетиям, связанным с изданием моих трудов (неотъемлемая часть жизни филолога), может напоминать не столько автобиографию, сколько авантюрную новеллу, своего рода *novela picaresca*.

II

Когда книга была закончена, встал вопрос о ее издании. Оказалось, что по техническим причинам – в связи со сложностью набора – напечатать ее можно только в одном месте, а именно в Первой типографии издательства “Наука” (Академии наук) на Васильевском острове в Ленинграде, в типографии, основанной в начале XVIII в.¹⁶ В других типогра-

¹⁶ Типография при Академии наук была учреждена 4 (15) октября 1727 г. указом Верховного тайного совета на первом этаже бывших палат царицы Прасковьи Федоровны рядом со строящейся Кунсткамерой, и была создана “для печатания исторических книг, которые на российский язык переведены”.

фиях – даже во Второй академической типографии Академии наук, находящейся в Москве, – не было необходимых шифтов, там не могли воспроизводить надстрочные знаки, выносные (вынесенные над строкой) буквы, не было славянского шрифта и т. п.¹⁷

Однако Первая академическая типография была ведомственным учреждением: там печатались только книги сотрудников Академии наук (как правило, сотрудников ленинградских академических учреждений). Я же работал в Университете, и мне туда доступа не было.

Я узнал, впрочем, что существовала Комиссия по истории филологических знаний при Академии наук, которую возглавлял чл.-кор. АН СССР Николай Федорович Бельчиков. Как мне стало известно, они имели право издавать авторов со стороны. Я решил к ним обратиться. Для этого я заручился рекомендательными письмами Дмитрия Сергеевича Лихачева и Михаила Павловича Алексеева. Письма не помогли. Мне так и не удалось узнать, чем занималась эта комиссия.

Между тем в это время шла подготовка к юбилею Академии наук: в 1975 г. исполнялось 250 лет со дня ее основа-

¹⁷ Издание сложных текстов предполагало ручной набор: наборщик руками (а не на машине) складывал литеру за литерой и так набирал лист, перевязывал его вошеной ниткой и шел дальше. В то время были еще такие наборщики, и особенно сложные тексты набирались в Первой академической типографии. Когда набиралась моя статья в “Вопросах языкознания” (в московской типографии Академии наук), мне удалось однажды прийти в типографию с плоскогубцами, с тем чтобы придать свинцовой литере нужную форму. Если не ошибаюсь, речь шла о букве “ять”, которой не было в наборной кассе.

ния, и это должно было ознаменоваться публикациями по истории Академии. Моя книга имела самое непосредственное отношение к этому юбилею, т. к. грамматика, мною обнаруженная, была написана для студентов Академии наук – так называемого Академического университета. В юбилейных изданиях в принципе могли участвовать не только сотрудники академических институтов; я надеялся, что этот юбилей даст мне возможность опубликовать свою работу. Письма Лихачева и Алексеева были адресованы в РИСО (редакционно-издательский совет) АН СССР, и я отправился с ними к Ефиму Семеновичу Лихтенштейну, ученому секретарю РИСО¹⁸. Письма не произвели никакого впечатления, Лихтенштейн славился своим умением отказывать. Это был импозантный джентльмен, хорошо одетый, с интеллигентным лицом: тип чиновника-циника, которого едва ли интересовала история Академии наук и вообще чтобы то ни было, относящееся к научной сфере. К Лихтенштейну мне еще предстоит вернуться.

Я уже отчаялся видеть свою книгу напечатанной, как вдруг у входа в старое здание Университета (аудиторный корпус), где я работал¹⁹ и где помещался факультет журна-

¹⁸ РИСО находился тогда в академических домах по Калужской улице (сейчас Ленинский проспект), вход с Выставочного переулка (сейчас улица Академика Петровского), неподалеку от Ризоположенской церкви.

¹⁹ Там в подвале помещалась Лаборатория структурной типологии и вычислительной лингвистики, основанная мной вместе с Владиславом Митрофановичем Андрюшенко в 1965 г.

листики, я встретил своего знакомого Бориса Самойловича Шварцкопфа, сотрудника Института русского языка, который по совместительству преподавал на этом факультете, – добрейшего человека, увлеченного до фанатизма проблемами русской пунктуации. Высокий, тощий, с голым черепом, длинной черной бородой (оправдывающей его фамилию), с лицом ассирийского царя, он всегда был чем-то озабочен. И на этот раз у него было озабоченное лицо.

– Послушайте, вы не хотели бы издать книгу в издательстве “Наука”, – спрашивает меня Б. С. (клянусь, его подлинные слова!). – У меня объявился старый знакомый (кажется, они вместе учились. – Б. У.), который работает в РИСО Академии; его дочка поступает на журфак, он обратился ко мне за протекцией, и, в свою очередь, предложил воспользоваться его помощью и опубликовать что-нибудь в этом издательстве. У меня же, как на грех, сейчас ничего нет. Жаль было бы упустить такую возможность. (Возможность, действительно, была исключительная: издать книгу в советское время было совсем непросто, в том числе и для сотрудников академических институтов.)

Окрыленный этими волшебными словами, я сообщил Б. С., что действительно, у меня есть готовая к изданию книга и что издать ее можно только в издательстве “Наука”, причем именно в Первой академической типографии.

– Прекрасно! – просияв, говорит Шварцкопф. – Вот номер телефона, звоните немедленно, сошлитесь на меня: Се-

мен Яковлевич Фокин.

Звоню Семену Яковлевичу, он чрезвычайно любезен (еще бы – дочка поступает!), предлагает мне на следующий день с утра приехать в РИСО в Выставочный переулок.

Приезжаю, встречаемся. Рассказываю о своей книге. Говорю ему, что, как мне представляется, эта книга по своей тематике могла бы подойти для издания к юбилею Академии.

– Действительно, – говорит С. Я. – Существует список юбилейных изданий, и он еще не закрыт. Это именно то, что надо. Никаких проблем. Сейчас я доложу Ефиму Семеновичу (Лихтенштейну), и мы вставим книгу в план. Минутное дело. Подождите меня, пожалуйста.

Сижу, жду. Действительно, вскоре появляется С. Я., несколько обескураженный.

– Совершенно непредвиденное обстоятельство, – говорит. – Я доложил обо всем Ефиму Семеновичу, он меня внимательно выслушал и спрашивает:

– Но ведь об этом, конечно, было что-то известно и раньше?

– Нет! – говорю. – Ничего не было известно!

– Как, совсем ничего?

– Решительно ничего!

– Так это что же – открытие?

– Именно так – открытие!

– В таком случае, – сказал Ефим Семенович, – эта книга

не может быть издана к юбилею Академии наук: к юбилею могут быть опубликованы только апробированные сведения.

Ефим Семенович Лихтенштейн был мастером художественного отказа: он превращал бюрократический отказ в творчество. С. Я. много лет работал с Лихтенштейном и, казалось бы, должен был бы знать его характер; тем приятнее было для Е. С. огорошить его таким образом.

– Это неожиданно, – говорит Семен Яковлевич, совладав с собой. – Но мы что-нибудь придумаем. К сожалению, я перехожу на другую работу, я здесь последний день. Я передам вас в хорошие руки. Сейчас я познакомлю вас с Нонной Ивановной (имя вымышленное, подлинного ее имени не помню. – Б. У.), моей помощницей, и попрошу ее помочь.

Нонна Ивановна оказалась привлекательной дамой с густо накрашенным ртом. С. Я. объяснил ей ситуацию и попросил курировать.

– Поняла, – говорит Н. И. – В каком состоянии книга?

– Да книга-то готова...

– Хорошо, – говорит Н. И. – Я вам позвоню.

Я ушел, не питая никаких надежд: Лихтенштейн отказал, С. Я. покидает эту работу – о чем еще говорить? Особенно, впрочем, я и не надеялся: я знал Лихтенштейна и знал, как трудно было издать книгу в Советском Союзе.

Тем не менее, по прошествии некоторого времени звонит мне Нонна и говорит такие слова:

– Ваша книга вставлена в план. Она должна быть сдана в

издательство в мае (действие происходит в марте или апреле).

Я ушам своим не поверил.

– Как вставлена, в какой план? В план редподготовки?

– Нет, – говорит, – в план выхода. Книга должна быть издана в первом квартале следующего года.

Это было неслыханно. Чтобы попасть в план выхода, надо было сначала войти в план редподготовки, после чего – при большом везении – книга попадала в план выхода. Это занимало годы. Оказалось, что Нонна Ивановна поступила подобно Колумбу в легенде о Колумбове яйце: взяла готовый план изданий Академии наук на следующий год – план, уже подписанный Лихтенштейном! – и, ничтоже сумняшеся, от руки вписала туда мою книгу.

– Сдавайте книгу, – говорит Нонна. – Вам надо будет получить гриф какого-нибудь академического учреждения.

– А гриф Университета не годится?

– Нет, непременно должен быть гриф академического учреждения – все равно какого, но учреждения Академии наук.

Новое препятствие! Откуда же взять гриф? Естественнее всего было бы обратиться в Институт русского языка, но им заведовал Федот Петрович Филин – одна из самых одиозных фигур в советском языкознании, бывший маррист, противник Виноградова; под его руководством приличный некогда институт превратился в Бог знает что.

Я обратился к Рубену Ивановичу Аванесову, он возглавлял Научный совет по диалектологии и истории языка Отделения литературы и языка АН СССР. Мы с Р. И. были в хороших отношениях, он принял меня доброжелательно, но объяснил, что возглавляемый им Научный совет по диалектологии, хотя и числится при Отделении литературы и языка, не располагает собственным листажом, который бы выделялся ему Академией наук для публикационной деятельности: листы выделяются Институту русского языка; чтобы напечатать мою книгу под грифом Научного совета, ее надо будет провести через Ученый совет Института; если же это будет сделано, то Научный совет урежут в листах, которые отводятся ему в Институте, – чего он, Р. И., естественно, не хотел бы.

– Но ведь книга моя уже стоит в плане изданий Академии наук.

– Это не имеет значения. Где гриф, там и листаж. Если я прошу о грифе, я должен обеспечить листы.

То есть замкнутый круг...

Что делать? Оставался только Институт русского языка – Филин. Знаком я с ним не был и вообще никогда в жизни не видел. Я решил посоветоваться с Гёрой (Германом Ивановичем) Белозерцевым, ученым секретарем Института; мы с ним немного были знакомы по Университету (он был старше по курсу)²⁰. Я рассказал ему ситуацию и спросил, есть ли

²⁰ Он был женат на старшей дочери академика Георгия Федоровича Алексан-

какая-то возможность получения грифа.

– Не думаю, – сказал Гера. – Все зависит от Федота Петровича (Филина), едва ли он согласится. Надежды мало. Если хочешь, я ему доложу, спрошу у него. – На том и порешили.

Встречаюсь я с Гэрой, он и говорит:

– Ничего не вышло. Федот Петрович сказал так: существует устоявшееся мнение, что создателем первой грамматики русского языка был Ломоносов. Нужно ли нам от этого мнения отказываться? И потом, сказал Федот Петрович, до лета осталось одно, последнее заседание Ученого совета, и порядок дня уже расписан: предстоит обсудить много вопросов, программа забита (это – правда, добавил Гера).

– Значит, безнадежно?

– Похоже, что так, – сказал Гера. – Но знаешь... я бы на твоём месте пошел и поговорил с Федотом Петровичем. Он своеобразный человек, чем черт не шутит!

Я решил так и сделать, коль скоро я уже находился в Институте русского языка. Иду в приемную директора, там очередь. Посетителей много, они сидят на стульях, расположенных вдоль стены; когда кто-то выходит из кабинета, посетители, как в детской игре, пересаживаются со стула на стул, постепенно приближаясь таким образом к директор-

дрова, главы советской философии, фигуранта сексуального скандала 1955 г. (“дела гладиаторов”). Я был хорошо знаком с младшей дочерью философа, Таней (мы учились на одном курсе). Таня дарила мне книги из библиотеки своего отца, которые он получал на международных симпозиумах (так я обзавелся Упанишадами в издании С. Радхакришнана).

ской двери. Наконец очередь доходит до меня.

Вхожу. Огромный кабинет, большой письменный стол. Навстречу мне поднимается Ф. П. Я никогда его раньше не видел. Совершенно гоголевский тип из иллюстраций Боклевского – городничий или Собакевич. Огромный мясистый нос, приковывающий к себе внимание: глаз не отвести.

– Слушаю вас, – говорит.

– Моя фамилия Успенский, – начинаю я.

– Борис Андреевич! – неожиданно перебивает он. – Так мы же вас все время печатаем! (у меня в это время печаталась статья в “Вопросах языкознания”, где он был главным редактором).

– Я и пришел просить вас продолжить эту деятельность.

– А что такое? – спрашивает он, озабоченно нахмутив брови.

Излагаю ему суть дела. Он слушает внимательно, будто ничего не знает.

– Разумеется! – восклицает он. – Программа Ученого совета у нас очень насыщена, но мы, конечно, найдем для вас время.

– А знаете, – произносит он доверительно (меняя тон). – Мне ведь докладывал о вас наш ученый секретарь, Белозерцев. Зачем, говорит, мы будем его утверждать? У нас ведь и так дел много. Нет-нет, мы, конечно же, вас утвердим.

Что это было? То ли Ф. П. играл со мной в кошки-мышки, то ли Гера вел двойную игру. У Филина была дурная

слава. Геру я знал лишь шапочно, как мне потом стало известно, он был активным участником гонений на так называемых подписантов – сотрудников Института русского языка, подписавших письма в защиту Александра Гинзбурга и Юрия Галанскова в 1968 г.²¹ Сначала я думал, что Гера здесь ни при чем, и что Филин его оговорил – просто так, на всякий случай. Сейчас, вспоминая эту историю, я начинаю сомневаться. Не могло ли быть так, что Филин оценил мою публикацию о найденной мной грамматике в “Вопросах языкознания” и просто-напросто захотел мне помочь? У Филина была настолько дурная слава, что такое предположение с трудом умещалось в голове. Тем не менее, он был грамотным лингвистом, несомненно, интересующимся историей русского языка²², – вообще говоря, он способен был оценить новизну этой публикации.

Смелая, но самонадеянная мысль. Кто знает...

И утвердили. Я воспрял духом. Казалось, все препятствия позади. Оставалось одно: сдать рукопись²³ в издательство “Наука”. Не предвидя каких-либо препятствий, я все же решил посоветоваться с Владимиром Николаевичем Топоровым, который постоянно имел дело с этим издательством.

²¹ Именно в 1968 г. Филин стал директором Института русского языка, а Белозерцев – его ученым секретарем; с конца 1970-х гг. Белозерцев был зам. директора Института.

²² Ср. монографию Филин, 1940.

²³ Речь идет, конечно, о машинописи: тексты, отпечатанные на пишущей машинке, в издательском обиходе именуются *рукописями*.

Необходимо было узнать, в частности, какие требования предъявляются к рукописи при сдаче.

— Даже и не пытайтесь, — сказал В. Н. — Это бесполезно. В издательстве появились новые правила приема рукописей, практически невыполнимые в лингвистическом издании: все должно быть напечатано на белой (финской) бумаге (такая бумага не продавалась! — Б. У.), на странице ничего не должно быть вписано, никаких исправлений, подчисток, подклеек и т. п. В издательстве есть специальный отдел приема рукописей, там сидит девица с крайне неприятным характером, которой поручено все это контролировать, и она придирается к каждой мелочи: ничего не пропускает, все заворачивает обратно; люди ходят к ней по нескольку раз, и все без толку.

Между тем, у меня был сложный текст, славянские буквы приходилось вписывать, исправлений было не так мало.

Я поехал в издательство на разведку (оно находилось тогда в Подсосенском переулке, в бывшей усадьбе Морозовых). Роскошный особняк, отделанный Ф.О. Шехтелем, широкая лестница, залы с лепными потолками. Заглянул в отдел приема рукописей, посмотрел на вредную девицу, узнал требования, которые предъявляются к рукописи при сдаче (они действительно оказались невыполнимыми) и изучил путь следования рукописи после ее сдачи: нашел филологическую редакцию, куда попадала сданная рукопись (огромная зала, где всегда толпился народ), и обнаружил шкаф, ку-

да складывались поступавшие рукописи; шкаф этот не запирался. Исследовав все это, я изготовил еще одну машинописную копию своего текста, так что у меня оказались два экземпляра книги – один с правкой, другой без правки. Экземпляр без правки я сдал в издательство; он был совершенно чистый, без единой пометки, девица в отделе приема даже удивилась его идеальному состоянию. Другой экземпляр был рабочий, где много было вписано от руки. После того, как рукопись (чистый экземпляр) была принята, проследовала в комнату редакторов и оказалась в упомянутом мной шкафу, я зашел туда и заменил чистый экземпляр на рабочий, в котором все было внесено и исправлено. Сделать это было нетрудно. Так была издана эта книга²⁴. Перепечатка текста влетела мне в копеечку, но дело того стоило.

Трудно передать, сколько сил и времени уходило на вычитывание и исправления текста в докомпьютерную эпоху. Мой первый компьютер (Apple Macintosh) появился у меня в 1988 г.: я купил его в Вене, куда был приглашен читать лекции. В этом году по всему миру проходили конференции, посвященные 1000-летию крещения Руси; на одной из таких конференций в Риме я встретился с Н.И. Толстым (я приехал из Вены, он из Москвы) и показал ему текст, набранный на компьютере. “Очень красиво”, – сказал Н. И. – “Но примут ли в издательстве текст, напечатанный не на пишущей машинке, а на компьютере?”

²⁴ Успенский, 1975.

Мои западные коллеги работали в куда более благоприятных условиях. Для того, чтобы исправить букву, им не нужно было срезать лезвием бритвы верхний слой бумаги, с тем чтобы затем на срезанном месте нарисовать тушью правильную букву (скрупулезная работа, требующая большой точности; обычно она оканчивалась тем, что лист оказывался прорезанным и страницу приходилось перепечатывать). У них была специальная замазка, которая немедленно высыхала: надо было только провести кисточкой по исправляемому тексту и впечатать поверх него новый, правильный текст. Мы должны были исправлять каждую букву четыре раза, поскольку текст печатался под копирку в четырех экземплярах. У них же было особое средство, позволяющее вносить исправления на пишущей машинке одновременно во все экземпляры (пластинки, которые вставлялись перед каждой копией)²⁵. Словом, в их распоряжении были специальные приспособления, существенно облегчающие техническую работу над текстом; у нас же ничего этого достать было нельзя. Однажды в Москве появилась Энн Шукман (Ann Shukman) с огромным картонным ящиком, наполненным такого рода приспособлениями; у нее были трудности на таможне, но, слава Богу, все обошлось.

Не могу не вспомнить при этом о другом неожиданном

²⁵ На одну сторону этих пластинок были нанесены белила. При нажатии на клавишу исправляемая буква покрывалась белилами и поверх забеленного текста печаталась нужная буква.

подарке, меня осчастливившем. В Москве появился Вильям Федер (William Veder), работавший тогда в Неймегенском университете, и сообщил мне, что в его университете отказываются от использования пишущих машин (в связи с переходом то ли на компьютеры, то ли на аппараты более совершенные). По его, Федера, предложению, Университет решил подарить одну из списанных машин – совершенно новую – Ольге Александровне Князевской и мне как членам кафедры русского языка МГУ; попросту говоря, предлагалось подарить машину кафедре, но не кафедре как бюрократическому учреждению, а кафедре в лице его членов, занимающихся историей языка и нуждающихся в особых технических средствах. Это была замечательная машина, в которой было около ста шрифтов; шрифты были на сменяемых вращающихся головках: вставляя головку, вы меняли шрифт. Напечатанный таким образом текст не отличался от типографски набранного.

Предназначенная для нас пишущая машина по дипломатическим каналам была прислана в Москву и уже находилась в голландском посольстве. Проблема состояла в ее передаче. Голландское посольство не могло передать ее мне или О.А. Князевской; оно должно было передать ее в Университет, с тем чтобы она дошла затем до нашей кафедры. На этом настаивал иностранный отдел Университета. Было очевидно (как нам, так и посольству), что при таком способе передачи машинка до нас не дойдет, а останется в иностранном отде-

ле. Шли затяжные переговоры, которые ничем не кончались. В конце концов на кафедре появилась сотрудница посольства, огромного роста голландка с увесистой машиной под мышкой, которую она мне и вручила. Помню, за нее уселся Георгий Александрович Хабургаев и тут же принялся печатать кафедральный сборник; вскоре он вышел в ротاپринтном издании²⁶.

Вообще помощь иностранных коллег в то (советское) время трудно переоценить: нам присылали книги и оттиски, мы были в курсе всего происходящего. Мы были членами одного сообщества, одного института – по какую бы сторону железного занавеса мы ни находились.

Особенно чувствительным было отсутствие копировальной техники: если на Западе копировальные аппараты (ксероксы) были в каждом университете, у нас они имелись только в специальных (закрытых) учреждениях. Доступ к этим аппаратам был затруднен: распространение печатной продукции без соответствующей санкции грозило арестом. Найти копировальщика, который за плату соглашался изготовить копию текста, было очень непросто: дело было риско-

²⁶ Актуальные проблемы, 1988. Сборник этот, по сей день не потерявший своего значения, мало кому известен: такие издания, насколько я помню, не попадали в продажу и вообще никак не распространялись. Нас это не беспокоило: главное было опубликовать, напечататься. В то время мы исходили из того, что книга найдет своего читателя. Потом это изменилось: читатель стал выступать не как активное, а как пассивное существо, которому надо было помочь найти книгу. Появились элементы рекламы, престижные и непрестижные издательства и т. п.

ванным и могло кончиться для него плохо. Андрей Дмитриевич Михайлов, историк французской литературы, рассказывал мне, как в Институте мировой литературы, где он работал, появилась комиссия, которая проверяла состояние и содержание ксероксов (копировальных аппаратов). “Но у нас нет ксерокса”, – сказали сотрудники института. “Мы давно просим, чтобы нам его дали, но все безуспешно”. – “У вас он есть”, – сказала комиссия. “Он у нас значится в ведомости”. Вызвали завхоза, и тот подтвердил, к изумлению собравшихся, что, действительно, копировальная машина была получена некоторое время назад и стоит в коридоре нераспечатанной. “Копировальная машина должна храниться в специальном помещении с кодовым (секретным) замком”, – заявила комиссия. – “Поскольку условия ее хранения нарушены, мы, согласно инструкции, обязаны ее уничтожить”. Принесли лом, был составлен акт, ксерокс был распакован и тут же на глазах у ошеломленной публики разломан на части. А. Д. описывал состояние восторга, охватившее сотрудников Института, когда они узнали о наличии копировальной машины, и состояние отчаяния, наступившее у них, когда они стали свидетелями ее уничтожения²⁷.

²⁷ В 1988–1989 гг., оказавшись в Бергене (Норвегия) я узнал, что там можно было купить портативный ксерокс (мне, усвоившему советские представления о наличии товаров, в голову не приходило, что его можно было купить и в другом месте). Я немедленно купил его и после этого должен был путешествовать с ним по Европе (из Норвегии в Италию, оттуда в Австрию и, наконец, в Россию), что было отнюдь не просто (он был довольно увесистый). Мне удалось беспрепят-

III

После защиты диссертации (1972 г.) мне предложили читать курс истории русского литературного языка на филофаке МГУ. Мне этого совсем не хотелось (я был увлечен исследовательской работой)²⁸, но мои старшие товарищи – Рубен Иванович Аванесов и Самуил Борисович Бернштейн (они вместе с Д.С. Лихачевым были моими оппонентами на защите диссертации) – сказали мне: “Не отказывайтесь!” Я к ним относился с большим уважением, их мнение ценил – и согласился...

Согласившись, я обратился к учебникам по истории русского литературного языка – и пришел в ужас: общие слова, полная методологическая беспомощность. Не существовало ни одного учебника, на который можно было бы опереться. Приходилось все делать самому. Это было трудно: в течение нескольких лет всю неделю я готовился к лекции. Как я уже сказал, приходилось учиться на ходу...

Так я стал читать этот курс; он постепенно совершенство-

ственно привезти ксерокс в Москву, хотя я опасался, что его не пропустят при пересечении советской границы.

²⁸ В это время я числился старшим научным сотрудником экономического факультета МГУ (Лабораторию, в которой я работал – я о ней упоминал выше, – перевели на экономический факультет, что никак не отразилось на нашей деятельности). Это было спокойное место, позволяющее сосредоточиться на исследовательской работе.

вался, у меня появились ученики; я привлек к преподавательской деятельности В.М. Живова (самого первого моего ученика), мы вместе стали вести семинар. К нам тянулись – не из-за моих педагогических способностей (весьма скромных), а из-за того, что это была единственная отдушина, где чем-то можно было увлеченно заниматься. Никогда ни до ни после у меня не было таких студентов. Их курсовые работы были творческими в полном смысле этого слова: я ставил какую-то нерешенную задачу, и они ее решали; указывал неизвестный и неисследованный древнерусский источник, и они его исследовали. Из семинара вышло несколько выдающихся филологов: укажу, в частности, на А.А. Гиппиуса, О.Б. Страхову (урожд. Заславскую; она сейчас в Америке), А.А. Архипова (и он тоже там), С.В. Петрову (урожд. Васильеву), о. Александра Троицкого (он стал священником). Были и другие, не менее талантливые, но не все пошли по этому пути.

Обстановка в семинаре была неформальной. Курсовые работы надо было сдавать в мае (до сессии), и студенты, как правило, не укладывались в срок; исследовательскую работу вообще невозможно планировать. Я заранее ставил отличную оценку, и они приносили мне работу много позже. Ни разу я не был обманут: студенты были заинтересованы в своей работе.

Позднее, оказавшись в Гарварде, я поделился – не без гордости – своим методом: сначала (авансом) отметка, а затем результат. Я увидел широко раскрытые глаза: мой метод не

соответствовал американским представлениям о приеме экзаменов. Понятное дело: в России бюрократизм, особенно в сфере духовной культуры, вызывает протест. В Америке или Германии (в меньшей степени – в Италии) к нему относятся с почтением.

Итак, я с увлечением преподавал. У меня определилась новая концепция истории русского литературного языка. Меня очень поддерживали мои коллеги по кафедре – Клавдия Васильевна Горшкова (она заведывала кафедрой) и Георгий Александрович Хабургаев. Обстановка на кафедре была дружественная, такая, какой она должна быть, – не дух соперничества, а дух коллегиальности. Я упомянул о своих отношениях со студентами. Сходные отношения были и с коллегами (конечно, не со всеми): когда я начал думать о своем курсе, Г.А. Хабургаев, которому довелось в свое время читать этот курс, поделился своими материалами и наблюдениями. Они оказались очень полезны. Нигде больше я не встречал подобного духа бескорыстия и коллегиальности. С Георгием Александровичем мы потом близко сошлись.

Я участвовал в подготовке новой программы по истории русского литературного языка, предназначенной для преподавания в университетах (вместе с К.В. Горшковой, В.М. Живовым и Г.А. Хабургаевым)²⁹, и издательство “Высшая школа” предложило мне написать учебник по этому предмету. Я начал над ним работать: он получился очень боль-

²⁹ См. Программа, 1986.

шой; я дошел только до петровского времени и поставил здесь точку. В своих лекциях я доходил до середины XIX в. – до времени, когда в результате стабилизационных процессов русский литературный язык приобретает тот облик, который в общем и целом сохраняется по сей день³⁰.

История русского литературного языка рассматривалась как история меняющегося соотношения между книжным (церковнославянским) и некнижным (русским) языком. Выражение “церковнославянский язык” понимается при этом в широком смысле; в отличие от “старославянского языка”, оно не сводится к языку канонических памятников письменности. Основу церковнославянского языка составляли не оригинальные, а переписываемые тексты, которые целенаправленно правилось в процессе книжной sprawy. Языковое творчество на церковнославянском языке в значительной степени определялось ориентацией на эти образцовые тексты; в результате подражания им создавались новые тексты – не воспроизводимые, а порождаемые; они порождались на базе естественной русской речи. Таким образом, общий корпус церковнославянских текстов, написанных на Руси, состоял из канонических текстов, написанных на более или менее стандартном церковно-славянском языке русской редакции, и текстов оригинальных, написанных на гибридном церковнославянском. В первом случае мы наблюдаем русификацию церковнославянских текстов в процессе

³⁰ Конспективное изложение всего курса дается в книге: Успенский, 1994.

их адаптации на русской почве: так писцы, переписывая тексты, приспособливали их к восточнославянским диалектным условиям. Во втором случае, напротив, имеет место славянизация русских текстов – или, точнее, русской языковой деятельности, – когда носители восточнославянских диалектов пишут по-церковнославянски, исходя из естественных речевых навыков.

Между тем в Институте русского языка АН СССР задумали издать многотомную историю русского литературного языка. Во главе отдела истории русского языка стоял тогда Александр Иванович Горшков (однофамилец К.В. Горшковой), который и должен был возглавить это начинание. Его пригласил Филин, став директором института. В 1983 г. Горшков выпустил книгу о проблемах и методах истории русского литературного языка, которая должна была служить теоретическим введением и научной базой упомянутого издания³¹. В этой книге не было ни концепции, ни метода; с моей точки зрения (которое разделяли мои коллеги), ее содержание ни в какие ворота не лезло. История русского литературного языка, согласно этому проекту, призвана была объяснить духовную прелесть русских березок. Литературный язык никак не отличался от языка литературы. Лингвистики там не было никакой, вообще – полный обскурантизм.

С Александром Ивановичем Горшковым я столкнулся в Киеве в 1983 г. на международном съезде славистов, где я

³¹ Горшков, 1983.

впервые представил свою концепцию истории русского литературного языка³². Он выступил по моему докладу и предложил свое определение литературного языка. В своем ответе я продемонстрировал, что под предложенное им определение подпадают надписи на заборах, которые мы, к сожалению, так часто видим в наших городах. После этого большой любви между нами не было.

Книга Горшкова предвляла многотомную академическую историю русского литературного языка, которая должна была быть написана на этой теоретической базе. Это было опасно: Академия наук считалась в СССР ведущей научной организацией, и можно было ожидать, что соответствующий подход будет признан догмой и введен в университеты.

Никита Ильич Толстой, который был того же мнения о книге Горшкова, предложил мне написать на нее рецензию для журнала “Вопросы языкознания”. Н. И. был тесно связан с этим журналом: он был его ответственным секретарем, когда главным редактором был В.В. Виноградов; практически Н. И. вел журнал в то время.

Я не любитель писать рецензии, но решил, что в данном случае должен это сделать. И сделал: написал разгромную рецензию. Она вышла едкой: я попытался высмеять научный метод Горшкова, и, кажется, это получилось.

Рецензия моя была принята в штыки. Она была отвергнута, и у меня начались неприятности. Горшкова активно под-

³² Успенский, 1983.

держал Олег Николаевич Трубачев, заместитель главного редактора “Вопросов языкознания”, – талантливый лингвист, но мракобес, что сказывалось, между прочим, на его лингвистических штудиях: он был упорным славянофилом и отказывался в своих работах признавать все неславянское. Я оказался в центре традиционной для русской истории борьбы славянофилов (в данном случае русофилов) и западников.

Сергей Михайлович Соловьев пишет в своих записках, как ему тяжело пришлось, когда он оказался в штате Московского университета, где шел тогда спор западников и славянофилов: славянофилы его считали западником, западники – славянофилом, и те, и другие к нему относились плохо; он же не был ни тем, ни другим³³. Нечто подобное случилось и со мной. Спор этот не прекращается на Руси, меняются только его проявления, всегда уродливые: например, борьба с космополитизмом и антисемитизмом как проявления славянофильства; введение ЕГЭ (единого государственного экзамена) и система оценок научных публикаций безотносительно к их содержанию как проявления западничества.

У Курочкина есть стихи:

Проще воздухом дыши
Без особенных претензий,
Коль дурак, так не пиши,
А особенно рецензий.

³³ Соловьев, 1983, с. 287, 291.

Мне случалось часто вспоминать эти строки.

Итак, рецензию мою отклонили, но дело на этом не кончилось. У Горшкова нашлись связи в Отделе науки ЦК КПСС³⁴, и на меня началась атака. Издательство “Высшая школа” отказалось печатать мой учебник. Между тем к тому времени он был уже не только сдан, но и формально принят. Я не мог заставить их издать мою книгу, но по закону и условиям, точно оговоренным в договоре, мне полагался гонорар – довольно большой, поскольку книга была большого объема (около 40 авторских листов; гонорар начислялся в зависимости от количества листов). Согласно действовавшему законодательству, рукопись считалась одобренной, если после того, как она была сдана в издательство и там зарегистрирована, по прошествии определенного срока автор не получал официального уведомления о том, что она отклонена. Соответствующий срок исчислялся в соответствии с объемом рукописи; ко времени описываемых событий срок этот уже прошел, юридически это означало, что моя рукопись принята и одобрена. Издательство могло отказаться от издания, но в любом случае оно обязано было выплатить мне авторский гонорар. На мой вопрос о гонораре я получил ответ, что платить мне они не собираются. Я обратился к опытно-

³⁴ Кажется, Горшков был связан с Дмитрием (отчества не знаю) Кузнецовым, зав. сектором исторических наук отдела науки ЦК в 1978–1988 гг.; помимо истории Кузнецов, видимо, курировал и филологию. Кузнецов окончил историко-международный факультет МГИМО в 1953 г. См. о нем Митрохин, 2013.

му адвокату, специализирующемуся по авторскому праву, и он меня заверил, что дело верное – закон на моей стороне. Я подал в суд, но мне было отказано в иске; по совету моего изумленного адвоката я подал на кассацию, но и там мне отказали. Второе заседание суда проходило странно: судьи долго совещались, прежде чем объявить свое решение. Как мне объяснили, помимо издательского договора существовала еще секретная инструкция (о которой не знал ни я, ни адвокат), которая позволяла обходить данное правило в том случае, если содержание книги было признано идеологически порочным. Инструкцию эту нам не показали, поскольку она была секретной. Дело было проиграно. Но мне было жалко не денег, а того, что книга моя – главный труд моей жизни – не будет напечатана.

Против меня началась развернутая кампания с обвинениями в клерикализме (я называл церковнославянский язык церковнославянским), в антипатриотизме (я обсуждал иностранные влияния на русский литературный язык). Моего ученика, сотрудника Института русского языка, принудили подписать коллективное письмо, направленное в Отдел науки ЦК КПСС и обличающее мою научную деятельность. Встретившись с ним в библиотеке, я не ответил ему на поклон. На него это, видимо, произвело впечатление: он сразу ушел из библиотеки. Вечером того же дня он написал заявление в Отдел науки и отозвал свою подпись, объяснив, что

поставил ее под давлением³⁵.

Я решил написать письмо М.С. Горбачеву; перестройка еще не начиналась, но уже были сигналы, говорящие о грядущих изменениях. Им, правда, не очень верили; казалось, это очередной финт ушами. Тем не менее, я написал это письмо, приложив к нему отзывы на мою (невышедшую) книгу – Д.С. Лихачева, Н.И. Толстого, Д.Н. Шмелева, Ю.Н. Караулова (директора Института русского языка). С Н.И. Толстым я на этом деле рассорился: он в это время делал карьеру (шел в академики) и опасался, что эта история может ему повредить. Н. И. написал мне резкое письмо, я отвечал еще более резким. Между тем ранее мы были дружны. Это была большая потеря. Несколько раз после этого мы пытались возобновить наши отношения, но не получалось: что-то между нами изменилось, исчезло взаимное доверие.

Не доверяя пакет почте, я собственноручно отнес его в

³⁵ Давление в самом деле имело место: ученика моего заперли в служебном помещении Института и заявили, что не выпустят его, пока он не подпишет письмо. Руководил всей этой операцией лично Валентин Павлович Вомперский, зам. директора и зав. сектором лингвистического источниковедения и истории литературного языка Института. Рассказывали о на́рочных на мотоциклах, посылаемых в Институт из ЦК КПСС в связи с этой подписью. Дело, по-видимому, было государственной важности. У Валентина Павловича было типичное лицо чиновника XIX в.: мясистое лицо, толстый нос, окруженный бакенбардами: бакенбардов у него, может быть, и не было, но они домысливались. Никита Ильич Толстой с ним дружил и звал его Пусей. В. П. был идиотом, а не злодеем. Он считал, между прочим, что я не могу заниматься историей русского литературного языка, поскольку окончил романо-германское отделение и, следовательно, являюсь германистом, а не русистом.

здание ЦК КПСС на Старой площади (дореволюционное здание акционерного общества “Россия”). Помню огромный подъезд; я попытался открыть дверь, но она оказалась запертой. Главные подъезды в административных зданиях у нас всегда заперты: они предназначены для главного начальника³⁶. Обойдя здание, я обнаружил слоняющегося гуляку в дубленке. Проходя мимо меня, гуляка беззвучно спросил, не смотря на меня: “Чего надо?” – “Передать письмо”. Кивком головы он указал на подъезд, где можно было его оставить.

Через некоторое время меня вызвали к директору издательства “Высшая школа”. На столе перед директором лежало мое письмо с резолюцией, предлагающей ему разобраться в сложившейся ситуации. Директор, с трудом скрывая смех, сказал, что в ситуации он разобрался и печатать мою книгу не собирается.

Но главная атака была направлена не на мой учебник (поскольку учебник не был издан, открыто обсуждать его было невозможно), а на книгу о языковой реформе Карамзина, вышедшую в это время (в 1985 г.) в издательстве МГУ³⁷. Из отдела науки ЦК КПСС позвонили в партком МГУ с предложением осудить мои идеологические ошибки; в чем они состояли, указано не было. Позвонили и сказали: вы издали книгу такого-то, там есть идеологические ошибки.

³⁶ Кажется, это традиция XVII в.: при Софье Алексеевне, если не раньше, в кремлевских дворцах появились разные лестницы для персон разного ранга.

³⁷ Успенский, 1985.

– Какие? – спросили в парткоме.

– Это вы сами должны знать, – ответил звонивший и повесил трубку.

Из парткома, естественно, немедленно позвонили в издательство. Издательство залихорадило, и они начали от меня открещиваться.

Партком приказал устроить обсуждение моей книги с обличениями и вытекающими отсюда последствиями. Но время – весна 1986 г. – было уже другое, и филологи (партбюро филфака) отказались это сделать; кафедра же моя вообще была на моей стороне. Тогда это обсуждение устроили на истфаке; историки вообще были более сервильны. В конце концов книгу о Карамзине обсудили и осудили на кафедре истории СССР периода феодализма (зав. кафедрой проф. А.Д. Горский)³⁸. Какое отношение имел Карамзин к эпохе феодализма, при этом, по-видимому, не уточнялось. Меня – профессора того же университета, работавшего тремя этапами выше, – даже не позвали на обсуждение³⁹.

После этого партком МГУ вынес мне обвинение в идеализме. Я всегда воспринимал это как комплимент⁴⁰.

³⁸ Это замечательное название кафедра носила с 1953 по 1992 г. Оно говорит о том, что с точки зрения историков СССР был всегда.

³⁹ Как я узнал впоследствии, Г.А. Хабургаев (парторг кафедры русского языка филфака МГУ) предлагал А.Д. Горскому устроить совместное обсуждение филологов и историков. “Мы это решение приняли по звонку сверху”, – отвечал Горский, – “и больше вмешиваться в этот вопрос не хотим”.

⁴⁰ Партком МГУ был на правах райкома, т. е. считался организацией того же

Во всей этой истории неблагоприятную роль играло издательство МГУ: выгораживая себя, они топили меня, обвиняя во всех грехах. “Ах так”, – сказал или подумал я – и потребовал у издательства денег за вышедшую книгу (ту самую книгу о Карамзине, которая оказалась в центре скандала). Дело в том, что это была внеплановая работа, и по закону за нее мне должны были заплатить. Мне в голову не приходило требовать гонорар – ни тогда, ни раньше, когда в этом издательстве выходили мои книги. Я был заинтересован в самой возможности издавать книги.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.